Исай Кузнецов

Снега былых

Экран и сцена. – 1998. – декабрь. – (№47). – С. 8, 9, 16.

У нас еще не отняты права.
Мы говорим веселые слова.
И только в звонкой доблести острот
Пред нами жизнь, как подвиг предстает.
Мирон Левин.

Зиновий Гердт читает Пастернака.

Четыре дня подряд, каждый вечер, я сижу у телевизора, смотрю на него, слушаю, вспоминаю.

Он именно читает. Не как артист, выступающий в концерте, просто – читает. Сидит у себя в саду с синим томиком Пастернака из "Библиотеки поэта", потрепанным, разбухшим от закладок, и читает. Читает, не заглядывая в него, сбивается, вспоминает, поправляется.

Я хорошо знаю те стихи, что он читает, невольно вторю ему шепотом. Иногда он все-таки открывает книгу – на какое-то мгновение – и снова читает, рассказывает о случайной встрече с самим поэтом, о том, как читал стихи Пастернака Твардовскому, как тот слушал, и снова – стихи. Вдруг, закончив читать, смеется. Смеется от восхищения, от удивления перед силой стиха, его красотой, точностью слова, музыкой.

– Вот так, ребята, – говорит он.

Я всматриваюсь в лицо восьмидесятилетнего человека, читающего Пастернака. Да, постарел. Постарел, но не изменился. Узнаю его смех, жесты, интонацию и эти слова: "Вот так, ребята."

Мы бродим по почти безлюдным улицам города, которого больше нет. Та Москва, еще довоенная, не добравшаяся до своих отдаленных окраин, еще не поглотившая их, ушла навсегда. Москва до войны – город, нынешняя – мегаполис.

Когда репетиции в Арбузовской студии кончаются поздно, и трамваи, автобусы уже не ходят, добираться домой – а мы оба живем на окраине – можно только пешком, такси ни ему, ни мне не по карману. И мы гуляем по городу.

Медленно светлеющее небо, рассвет, в котором теряют яркость все еще горящие фонари, редкие, подгулявшие прохожие, обочины тротуара в белых разводах тополиного пуха. Тополиный пух – середина июня.

Кругом семенящейся ватой,
Подхваченной ветром с аллей,
Гуляет, как призрак разврата,
Пушистый ватин тополей.

Бросить спичку – и легкий язычок пламени быстро, как по бикфордову шнуру, заскользит вдоль тротуара.

Мы бродим по городу и читаем стихи. То он читает, я слушаю, шепча за ним знакомые строки, то читаю я, то оба вместе, в два голоса – Маяковского, Багрицкого, Блока, Пушкина и, конечно, –Пастернака, открытого нами недавно и сразу ставшего любимым.

Нет, не сразу. Помню, как с трудом прорывался к нему, листая маленькую книжку с двухполосной серо-белой обложкой и как вдруг, неожиданно, он стал понятным, своим, близким и –необходимым. Не так ли было и у Зямы?

Милан Кундера пишет, что память предлагает нам не движение, не кинофильм, а фотографию, нечто застывшее, статичное –мгновение.

Отчасти и так. И все же не всегда статичное, иногда – пусть и короткое, но отнюдь не застывшее.

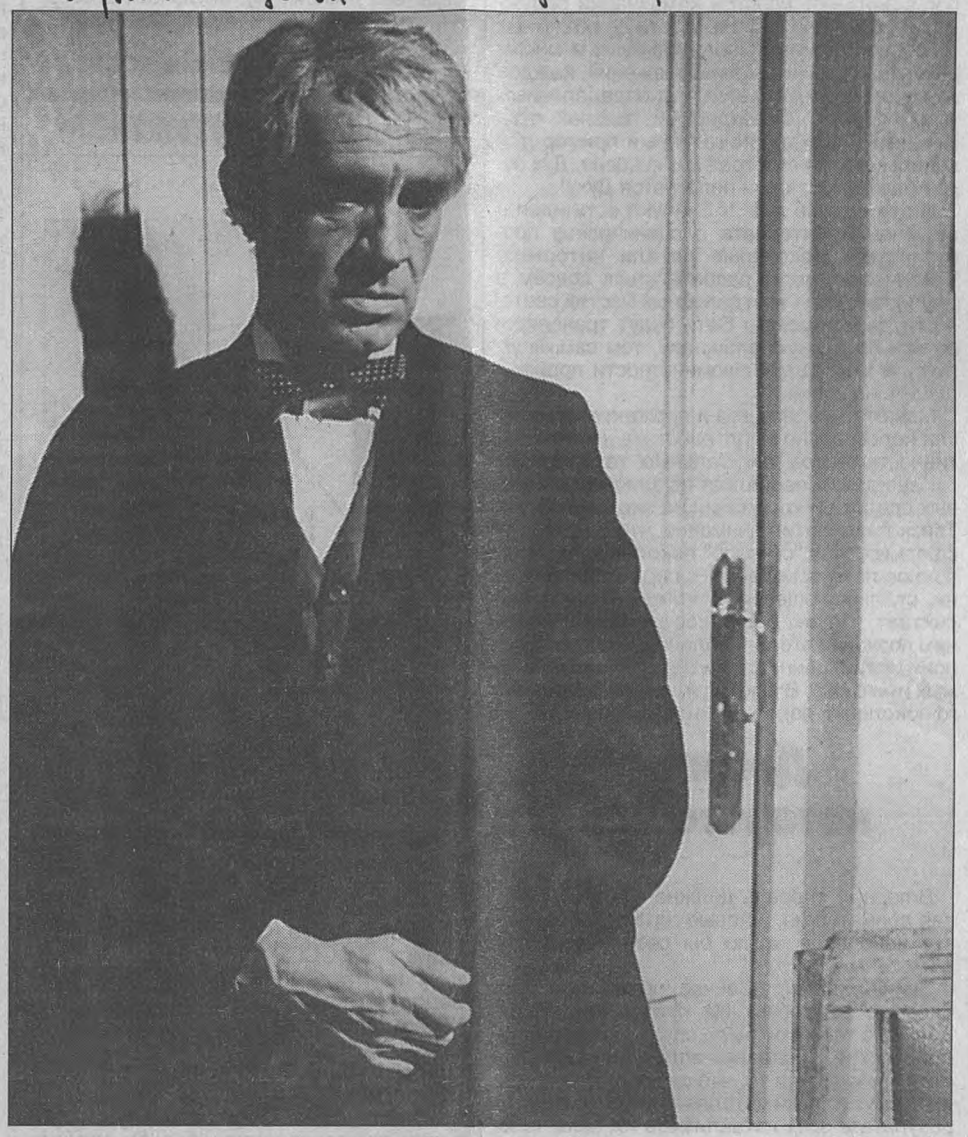
Вот одна из таких фотографий: мы сидим на скамейке, на бульваре у Никитских ворот, рядом с памятником Тимирязеву, и читаем стихи. К нам подходит женщина в заношенном, когда-то белом плаще, в беретике, из-под которого выбиваются спутанные, седеющие волосы, с мутноватой, полупьяной улыбкой на одутловатом лице. Зяма смотрит на нее с любопытством, я – с легкой брезгливостью.

– Мальчики, – говорит она, слегка покачиваясь, – угостите папироской.

Зяма лезет в карман, достает узкую пачку "Казбека". Женщина берет папиросу, садится рядом, улыбается ему, улыбается прищурившись, многозначительно, легко догадаться, что означает эта улыбка, но Зяма делает вид, что не понимает, дает ей прикурить и тоже улыбается.

А она перестает улыбаться, взгляд ее делается усталым и грустным.

– Ты славный мальчик, – говорит она. – Хороших людей на свете мало, очень мало Одного я знала. О нем сейчас говорят плохо. Очень плохо. О хороших людях всегда говорят плохо. А он... Он был замечательный человек. Да, замечательный.



– Кто же он, такой замечательный? – спрашивает Зяма.

Она вскидывает голову и тихо, очень тихо, но едва ли не с вызовом произносит запрещенное имя.

– Бухарин. Николай Иванович.

– Вы знали Бухарина? – спрашивает Зяма.

- Я работала с ним. В "Известиях".

Она встает и медленно, уже не пошатываясь, уходит. Мы молчим, глядя, как она идет в сторону Пушкинской площади, туда, где стоит многоэтажный дом "Известий", в котором она еще недавно работала.

– Наверно, была у него секретаршей, – говорит Зяма. – Или стенографисткой. И была влюблена в него.

А в наши дни и воздух пахнет смертью,
Открыть окно,что жилы отворить...

Произнес кто-то из нас эти пастернаковские строки? Или просто подумались? Но держатся в памяти, связанные с этой встречей.

А вот слова, сказанные после долгого молчания Зямой, помню.

– Вот так, ребята, – задумчиво сказал Зяма.

Тысяча девятьсот тридцать девятый.

Год назад арестован мой отец.

Через два года, здесь же, у Никитских ворот, я слушал речь Молотова. Война. Война, оборвавшая привычную жизнь, а с ней и нашу юность.

В тот день я шел к Саше Гинзбургу, еще не ставшему Галичем, делать какие-то поправки к пьесе, написанной нами вместе с Севой Багрицким. Севы в Москве не было, он отдыхал с Левой Тоомом и Наташей Антокольской в Коктебеле, и поправки предстояло делать без него – завтра, в понедельник, их надо представить в репертком. Уже не помню, зашел я к Саше или просто позвонил.

Какие поправки?! Война!

И вот уже новая фотография: я иду с Зямой по Страстному бульвару в сторону Пушкинской площади. Откуда взялся Зяма? Кажется, я позвонил ему, и мы встретились у одной нашей общей знакомой, жившей на Арбате. По-видимому, долго у нее не засиделись. Возле Литературного института навстречу нам стремительно, или, вернее – целеустремленно шагают – Борис Слуцкий, Павел Коган и Миша Кульчицкий. Они направляются в райвоенкомат – проситься на фронт.

Всего четыре месяца прошло со дня премьеры "Города на заре". В студии готовились к репетициям "Рюи Блаза" и нашей "Дуэли". Но мы с Зямой не сомневались – в такие дни надо не репетировать, а воевать. И тоже отправились в военкомат. Мы были освобождены от действительной службы, и у обоих в военных билетах стояло:

"Годен. Не обучен".
Ничего, обучат!

От моего дома в Останкине до сада имени Калинина пять минут ходьбы. Оттуда до наших окон еще недавно доносились звуки духового оркестра. Там смотрели кино, танцевали, просто гуляли. Сейчас из черных репродукторов над входом в сад до нас, повторенные эхом, доносятся только предупреждения: "Граждане, воздушная тревога! Граждане, воздушная тревога! " Во дворе нашего дома вырыта щель, на случай бомбежки.

Второй месяц войны.

Почему Зяма, живший у Тимирязевки, призывался здесь, у нас в Останкине, в клубе Калинина, не знаю. Но мы сидим на садовой скамейке возле продолговатого деревянного здания кинотеатра, где заседает призывная комиссия, и ждем, когда выкрикнут его фамилию.

Для того, чтобы понять, что такое война, есть только один способ – пройти через нее. И хотя Москву уже бомбили, мы еще плохо представляем, что нас ждет. Совсем недавно, застав нас с Зямой за обычным соревнованием в остроумии, Александр Константинович Гладков спросил мрачно: "И в гестапо вы так же будете острить?" Не слишком удачная шутка. Однако запомнилась. Мы еще многого не понимали. А потому, сидя на скамейке в саду имени Калинина, перед расставанием на долгие военные годы, не думая, не веря, что можем никогда больше не увидеться, мы, как обычно, шутили и смеялись.

Чистая случайность, что место его призыва оказалось рядом с моим домом. И все-таки, мне приятно думать, что я был с ним, когда он уходил в армию, уходил воевать.

Нам было по 16 лет, когда мы познакомились.

Мы оба учились в ФЗУ Электрокомбината, я на слесаря-инструментальщика, он на слесаря-лекальщика, специальности более тонкой. Впрочем, ни он, ни я, вовсе не мечтали отдать этим профессиям всю свою жизнь. ФЗУ – это два года рабочего стажа, необходимые в те времена для поступления в какой бы то ни было институт. Однако все сложилось иначе: ни он, ни я в институт так и не поступили.

15 ноября 1932 года – смешно, но я почему-то помню эту дату –мы оба пришли в просторное помещение на верхнем этаже одного из зданий Электрокомбината поступать в заводской ТРАМ – Театр Рабочей Молодежи, руководителем которого был бывший актер, Василий Юльевич Никуличев. Трамовцы звали его по-домашнему, дядей Васей. Со временем Зяма придумает к его имени рифму: "Дядя Вася, иди одевайся". Василию Юльевичу, человеку, не лишенному амбиций, название "драмкружок" не нравилось. А потому и ТРАМ. Впрочем, электрокомбинатовский ТРАМ и не был обычным драмкружком. Кроме репетиций пьесы Валентина Катаева "Ножи", там шли ежевечерние занятия – техника речи, биомеханика с Зосимой Злобиным, учеником Мейерхольда, танец с Верой Ильиничной Мосоловой, известной в свое время балериной, история театра.

Нас приняли.

В тот день, день нашего знакомства, и началась наша с ним дружба. С год назад я со своей семьей переехал из Ленинграда в Москву. За этот год у меня не появилось ни одного приятеля, не скажу – друга. Зяма был первым и долгое время – единственным.

У дружбы, как у всякого чувства, как и у любви, есть свои сроки. Но в отличие от любви, они определяются не самим чувством, а чем-то иным. Наша дружба не то, чтобы оборвалась, но сделалась больше памятью о себе, чем самой дружбой, когда наши пути привели нас в разное окружение – его в театр Образцова, на эстраду, меня в драматургию. Было еще и кино, но как-то на разных параллелях. Лишь однажды пути наши чуть не пересеклись, когда Володя Бычков пытался пригласить его сниматься в нашей с А.Заком картине "Мой папа – капитан". Почему-то этого не произошло. Не состоялось. Но это уже не в ключе дружбы – просто пересечение.

Первое время после войны мы встречались очень часто. Пытались втроем, вместе с Мишей Львовским, написать пьесу о человеке из прошлого, попавшего в наши дни. Тогда это была еще свежая идея. Помнится, сочиняли, на этот раз с Галей Шерговой, лирическую песню, в которой был припев – "Липа цветет, липа цветет..." Песню недописали, поняли всю двусмысленность этого лирического припева. Пьеса тоже так и не написалась – охладели к самому замыслу.

Потом стали встречаться все реже и реже, хотя до самых последних лет его жизни он бывал у меня, мы виделись с ним у Миши Львовского, я заходил к нему, встречались в Доме кино, в других местах. Я по-прежнему любил его, да и он, смею думать, – меня. Но у него была своя жизнь, у меня – своя.

А тогда, до войны, мы жили одной жизнью. Учась в ФЗУ, хотя и в разных группах, но в одной смене, мы возвращались с ним домой на тридцать девятом трамвае. Жил он далеко, в Астрадамском проезде, но частенько ночевал у своих родственников на Грохольском. Тридцать девятый шел в Останкино, полдороги было нам по пути. Полдороги – по пути. Так оно и вышло, в масштабе нашей жизни.

Итак – ТРАМ. Сперва – при Электрокомбинате, потом при ЦК профсоюза Электростанций. Никуличев был человек весьма деятельный и добился профессионализации нашего коллектива. Мы перебрались на Раушскую набережную, в клуб Мосэнерго. Сюда впервые пришел Валентин Николаевич Плучек, которого Никуличев пригласил для совместного руководства.

С его приходом наш коллектив стал меняться. Плучек принес с собой то, чего не хватало Никуличеву, – подлинную культуру театра. И, как обычно бывает в театре, коллектив раскололся по принципу приверженности к тому или другому руководителю. Мы с Зямой предпочли Плучека.

Зяма часто вспоминал своего школьного учителя литературы, привившего ему любовь к поэзии. Отчасти и эта любовь к стихам сближала нас – Пушкин, Лермонтов, Блок, Маяковский, Багрицкий. Человеком, открывшим нам другие имена, –Пастернака, Цветаевой, Ахматовой, Мандельштама, Ходасевича, – был Валентин Николаевич.